

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

## Фрагменты о Пастернаке

Для начала — записанный мною некогда рассказ Аркадия Штейнберга.

В шестидесятом, накануне похорон Пастернака, он поздним вечером приехал из Та-русы и сразу лег спать.

В начале седьмого его разбудил телефонный звонок. Спросон он не сразу узнал голос приятеля, поэта Александра Ойслендера: "Это квартира Штейнберга?" — "Да". — "А кто у телефона?" — "Хозяин". Долгая пауза. Потом — нерешительно: "Аркадий, как ты себя чувствуешь?" — "Неплохо, но не настолько, чтобы спрашивать меня об этом на рассвете"... На том и простились, оба — недоумевающие.

И тут началось, словно по сигналу. Звонок за звонком. И всякий, услышав раскатистое баритональное "Аллёу!" Штейнберга, почему-то терялся, что-то мямлил, а потом... ин-тересовался самочувствием. Так — до самого отъезда в Переделкино.

На обратном пути попутчик и старинный друг Николай Оттен объяснил, наконец, в чем причина столь назойливо-странной и массо-вой заботы о здоровье Аркадия.

В один день с Пастернаком умер извест-ный историк-востоковед, переводчик класси-ческой персидской литературы и прозаик-ро-манист Евгений Львович Штейнберг. Загля-нув вчера в Союз писателей, Оттен застал там жуткую панику, ужас перед переделкин-скими похоронами, которые, неровен час, выльются в какую-нибудь антиправительст-венную манифестацию. Все бегали, суети-лись, размахивали руками, понять ничего нельзя. Улучив момент, Оттен перехватил на бегу одного из союзписательских чиновников и говорит ему, что, мол, Пастернак Пастерна-ком, но вот и Штейнберг помер, надо хотя бы некролог в "Литературке" поместить. А тот в ответ: "Уже пишут. В секции поэтов". — "С какой стати — поэтов?" — "Так ведь Арка-дий Штейнберг — поэт!" — "Но Штейнберг, который умер, Евгений, — отнюдь не поэт". Поглядел собеседник на Оттена безумным глазом и опрометью бросился на второй этаж, Оттен за ним. Успели в последний мо-мент: готовый текст собирались в редакцию передавать по телефону.

Аркадий Акимович очень сердился на Отте-на за усердие. "По его милости дурацкой, — говорил, — мне уже никогда не прочитать о себе всяких потрясающих слов".

По небольшому этому трагифарсовому фрагменту можно вообразить, какое смяте-ние в те дни охватило "официальных лиц" не только в Союзе писателей...

Эхо скандала, разразившегося в пятьдесят восьмом, сразу по присуждению Пастернаку Нобелевской премии, не затихло — за грани-цей — и после смерти поэта.

Год спустя вышла его книга "Избранное" — неброская, в блеклом голубовато-сером переплете, тон коего весьма верно соответст-вовал содержанию, тщательно, проверенно подобранному. Кроме стихотворений, входивших в прежние книги, а последняя из них появилась восемнадцать лет назад, — "отте-пельный" цикл "Когда разгуляется" (1953 — 1959), уже разрозненно почти весь опробо-ванный в журналах, но впервые напечатанный целиком, да поэмы, разумеется, "революци-онные". И, само собой, ни намека на "Стихи из романа".

Книжка та была как бы посмертным смягче-нием отношения властей к Пастернаку — и демонстрацией этого смягчения Западу. Для чего ему, Западу, и уделили, так сказать, "выставочную" часть немого, по его, Запа-да, меркам (а для поэтических книг — прямо-таки огромного), тиража.

Примерно четверть оставшегося была мол-ниеносно распродана в Москве и Питере, остальное расплыли по провинциям, чем глубже, тем лучше. И некоторые мои знако-мые покупали эти пылинки даже лет семь — восемь спустя — кто в Ухте, кто в Уссурийске, кто в Чимкенте...

В середине шестидесятых стихотворец Сергей Васильев, один из тех, кому доверено было представлять советскую литературу в капиталистической "загранице", воротив-шись из очередной такой поездки, выступал-рассказывал о ней в ЦДЛ и гневно жаловался. Мол, куда ни приедешь, непременно задают "провокационные" вопросы, причем одни и те же: почему в СССР не издают Пастерна-ка, Ахматову, Мандельштама. Отвечаем: не пользуются читательским спросом. А они улыбаются ехидно, не верят...

Но это — к слову.

Я ту книжку в магазинах словить не сумел. Однако был у меня тогда ценный знакомец:

торговал книгами в киоске у "Детского мира", а потом — в подземном переходе к первопе-чатнику Ивану Федорову. Обратиться к нему сразу — в голову не пришло: не на улицах же станут "Пастернаком" торговать! Но в конце следующего года упомянул в разговоре с ним о той непоправимой неудаче своей. А он в от-вет: есть, говорит, у меня Пастернак, оставил "про запас", только не продам — в обмен дам, у тебя, говорит, ведь есть знакомые лет-чики "с Севера", добудь у кого-нибудь из них теплые штаны для меня, очень я тут мерзну...

Про "знакомых летчиков" я сам как-то ему вскользь упомянул — в Рижский институт гражданской авиации, где тогда учился, они временами приезжали на какие-то курсы, то ли "повышения квалификации", то ли, вер-нее, для ознакомления — теоретического — с разными техническими новинками в само-летней "начинке". Жили они в нашем обще-житии. Вечерами мы с ними в карты играли да болтали. Ну, я, вернувшись в Ригу, и спро-сил — "про штаны". И чуть не самой молодой из них, из полярных, если верно помню, Ва-лера, сказал, что есть у него такие — только что новую форму получил, а старые — бери, если хочешь.

Месяца через два, прилетев в Москву, об-менял я "Пастернака" на "полярные штаны"...

Лет пятнадцать спустя у Льва Озерова уви-дел одностомник Пастернака из "Библиотеки поэта" — без переплета, только сшитый-склеенный блок, и на титуле — несколько не-разборчивых подписей и дата: 26/V 1965.

Озеров приехал в Питер, расплавленный редкостным для конца мая зноем. И отпра-вился в местное отделение "Советского пи-сателя", где годом без малого раньше был сдан в набор составленный им и пропущен-ный через сито разнообразных редакцион-ных страхов и ужасов том нобелевского лау-реата-отказника. Подготовка этой книги, по словам Озерова, стала чуть не первой ли-тературной реакцией на снятие Хрущева — и упованием на новую "оттепель".

В редакции — один-единственный, том-ящийся духотой и бездельем сотрудник, да и во всем издательстве его коллег — по пальцам сосчитать, остальные на дачах или на юге... На вопрос — ткнул пальцем в папки с корректурой. Набор, наконец, готов, даже выправлен. Только вот "главного" нету, а без него — кто рискнет связываться с цензурой... Озеров тут же предложил на эту роль себя. Редактор оживился: а почему бы и нет! — не просто "составитель", но и член официальной Комиссии по литературному наследию Пас-тернака при Союзе писателей, известный по-эт, профессор Литинститута и прочая.

Сбежал редактор к кому-то, заменявшему "все начальство", позвонили в цензуру, там не против.

Озеров папки в сумки — повез. И — та же картина: пустынно, один молодой, тридцати нет, цензор маяется безработицей. Посетите-лю обрадовался: Пастернак, говорит, люби-мый поэт, книга согласована, какие пробле-мы?! Полистаю часок, а вы пообедайте пока, думаю, успею. Так и вышло.

С цензорским штампом и подписью — об-ратно в издательство: что дальше? Можно и в типографию — печатать. Правда, неизвес-тно — возьмут ли сразу, не завалены ли ра-ботой? Надо бы позвонить...

А типографский начальник тоже покла-дист — наряд готов выписать, только вот с метранпажем и рабочими сами договари-вайтесь.

Несколько бутылок водки, портфель заку-ской набит, папки под мышку — и в типогра-фию. Метранпаж улыбается: сейчас как раз вторая смена в разгаре, с ними говорить нет смысла, а вот если попозже, может быть, те, кто в ночную выйдут, вызовутся, у них сегодня дел негусто. Словом, согласились печатники охотно, предвкусывая вознаграждение-возлия-ние. Среди ночи Озеров прикорнул в како-то кабинетике, на диване. А часов в семь бу-дять — показывают этот самый блок, готовую книжку, только переплести, к сожалению, не могут: переплетный цех ночью не работа-ет, опечатан, если к вечеру заглянет, получит в лучшем виде.

Он вместо этого и сотворил раритет: заста-вил всех, кто работал, расписаться на титуле, число проставил и — книжку в портфель. Вы-пил с ними слегка, оставил пировать, а сам — в гостиницу.

И около "Европейской" в восемь утра встретил... Галича, только что вышедшего от друзей, у которых заночевал. Галич книгу рас-крыл, к лицу поднес, типографскую краску понюхал: "Надо бы выпить по такому случаю за Бориса Леонидовича!" Так и сделали — в гостиничном буфете, как раз к открытию по-дспели.

В августе тираж одностомника расплылся по магазинам и мгновенно был раскуплен.

В сентябре арестовали Синявского, автора предисловия, точнее, первого о Пастерна-ке — посмертного — очерка-монографии.

Кабы не Озеров и не та цепочка случайно-стей-совпадений, скорей всего, лежать на-бору все лето бездвижно. И книга не появи-лась бы...

Выход пастернаковского одностомника стал событием поэтическим, историко-литератур-ным, более того — просто историческим. По-тому, во-первых, что решительно подпривил "новейшую" историю литературы, дал уви-деть многим, кто не видел прежде — по ма-лой доступности старых его книг, что Пастер-нак — гениальный поэт, а не только, не столь-ко автор скандального "лауреатского" рома-на. А во-вторых, поутихшее было за полде-сятка лет эхо дела о "Докторе Живаго" воро-тилось, умноженное резонансом зарифмо-вавшихся судеб. Автор первого за много лет замечательного исследования поэзии Пас-тернака был предан советскому суду ровно за то же, за что травили его героя — за публи-кацию своих сочинений за границей.

В начале восьмидесятых Озеров говорил мне, что очерк Синявского — лучшее из чи-танного им о Пастернаке. Ныне "библиогра-фию" написанного на всех европейских язы-ках о втором российском нобелевском лите-ратурном лауреате можно собрать в несколь-ко увесистых фолиантов. Однако я и теперь считаю, что этот очерк — "томов премногих тяжелей".

Изначально "освещение" в советской печа-ти процесса Синявского и Даниэля живо на-помнило о громком "деле Пастернака". Не только у нас, но и — более — за границей. И словесно, и, можно сказать, визуаль-но. Потому что пятью годами ранее в тамошних ре-портажах с переделкинских похорон броса-лась в глаза фотография — вынос гроба из дома, на переднем плане — Синявский и Да-ниэль...

Правда, "застрельщик" новой кампании Дмитрий Еремин, пустивший в журналист-ский оборот слово "перевертыши" (так именовалась первая — его — статья о процессе), был пожиже прежнего. Ведь "охоту на Пас-тернака" объявил не кто иной, как сам Давид Заславский. Однако до зимы шестьдесят ше-стого он не дожил, помер весной шестьдесят пятого. Кабы не это, глядишь, Синявский с Даниэлем угодили бы в замечательную ком-панию его "жертв". Это был знатный охотник.

Отступление о Заславском. С эпиграфом: "Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?" (Евгений Шварц. "Дракон".)

В начале века — меньшевик, бундовец: один из первых авторов статей о "еврейском вопросе" в России. В восемнадцатом — пуб-лицист в денкинских газетах. Годом позже покаялся перед большевиками, был прощен и отправлен исправляться... в "Правду". В партию вступил в тридцать четвертом, пы-тался и раньше — не принимали, пока не при-нес рекомендацию... от Сталина.

В двадцать девятом громил Мандельшта-ма. В тридцать шестом — Шостаковича, кото-рый всю жизнь был уверен, что "редакцион-ная" статья "Сумбур вместо музыки" была на-писана самим Сталиным, — четверть века на-зад в архиве обнаружена рукопись Заслав-ского. Попутно оттоптался на формалистах Конашевиче и Лебедеве — "О художниках-пачкунах".

В сорок первом "зарубил" в "Советском пи-сателе" книгу Цветаевой.

В сорок восьмом — единственный из чле-нов уничтоженного Еврейского антифашист-ского комитета, кто не предстал перед судом даже в виде "свидетеля". И вскоре обернулся активистом антиизраильской пропаганды.

В сорок девятом клеймил Юзовского — в статье "Об одной антипатриотической груп-пе театральных критиков".

Наконец, в пятьдесят восьмом — Пастер-нак... Повод ясен. Но была и причина: ведь именно он дюжиной лет раньше председа-тельствовал на вечере в Политехническом, где явление на сцену Пастернака было встре-чено овацией. Ну, как такую-то вину да не за-глядывать!

Едва ли кому другому удавалось на протя-жении долгой жизни ошельмовать столько-то самых ярких своих современников.

Излагаю лаконичной хроникой. Впечатляю-щие промежуточные ситуации и подробности оставляю на поживу беллетристам. Не моего письма дело...

Впрочем, Еремин тоже был не без заслуг. Властное признание и Сталинскую премию он обрел еще в конце сороковых. За роман "Гро-за над Римом", яростно обличающий Ватикан за благословение фашизма и сотрудничество с Муссолини. В Италии, правда, автор не бы-вал, но книжка и там его прославил. Ватикан-ский еженедельник публиковал из номера в номер перевод — без комментариев. Знако-мая славистка рассказывала мне, что итали-яны хохотали так, будто ничего смешнее от-родясь не читывали. Так что обличитель "пе-ревертышей" был выбран без промаха...

У Пастернака в "Нобелевской премии":

Я пропал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною шум погони,  
Мне наружу хода нет.

Внезапно возникает отчетливый отклик когда-то, еще в двадцатом году, написанных стихов Цветаевой, подсознательной ассоци-ации с трагизмом ее судьбы:

Было дружбой, стало службой.  
Бог с тобою, брат мой волк!  
Поддыхает наша дружба:  
Я тебе не дар, а долг!

Пастернаковский зверь — конечно, волк, даже, вернее, волк-одиночка: "загон — пого-ня — наружу ходу нет" — описание охоты на волка, со всех сторон обложенного, окружен-ного красными флажками-стягами по грани-цам страны...

Едва ли осознанное — в отчаянии — воспо-минание о Цветаевой.

И отзвук естественно возникшего в рус-ской поэзии начала тридцатых мотива "Смер-ти волка" Барбье, откуда произошли и "Вол-чья облава" Штейнберга (1930), и "век-волко-дав" Мандельштама (1933).

В шестьдесят восьмом бывший студент Си-нявского в Школе-студии МХАТа Высоцкий спел собравшимся у Розановой друзьям до-ма только что написанную "Охоту на волков". И всем было ясно — о ком и о чем...

Все, что поэт пишет, он пишет о себе. За два года до Нобелевской премии в "За-метках к переводам шекспировских траге-дий" Пастернак не просто сказал, но резко, с нажимом, что все стихи в трагедиях Шекс-пира — не более чем подступы к его гениаль-ной прозе.

Очень похоже на то, что говорил он о своих стихах — и романах.

Тогда же в "Людях и положениях" он язви-тельно сыронизировал, что Пушкину "следо-вало жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке". И подчеркнул (последняя фраза главы — как последняя строчка стихотворения), что "пе-рестал бы понимать Пушкина, если бы допу-стил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне".

Очень похоже — пытался защитить Лару, героиню своего романа.  
Не удалось...

"Не надо заводить архива"...

Но сказано другим классиком: "Дела по-эта — слова его".

Пастернак как в воду глядел: именно с его архивом связан самый громкий скандал по-следнего десятилетия прошлого века.

Отнятые у Ольги Ивинской при аресте и конфискованные при осуждении бумаги по-пали в ЦГАЛИ. Дело, как известно, было явно липовое. Отсидев и добившись реабилитации, Ивинская попыталась — через суд — вернуть себе архив, тем более что Пастернак к тому времени снова превратился из отще-пенца в великого поэта.

В канун решающего судебного дня Никита Ми-халков посулил привести добровольцев, гото-вых силой отстоять, не отдав "национальное достояние" наследникам той, кому оно было за-вещано. Впрочем, геройствовал он понапрас-ну: суд узаконил, верней сказать, узаконил "отчуждение" рукописей в пользу более прием-лемых для него, для государства, наследников.

Кто бы сомневался в его, государства, уме-нии извлекать пользу...

Это было, напомню, уже после "реабилита-ции" и юбилейных торжеств девяностого го-да, с грандиозной выставкой в Музее изящ-ных искусств.

Долгое эхо пятьдесят восьмого. Сорок лет...

...Что ж, мученики догмата,  
Вы тоже — жертвы века.